# Испанские атриды

***В лето тысяча и триста
 Восемьдесят три, под праздник
 Сан-Губерто, в Сеговии
 Пир давал король испанский.

Все дворцовые обеды
 На одно лицо, — все та же
 Скука царственно зевает
 За столом у всех монархов.

Яства там — откуда хочешь,
 Блюда — только золотые,
 Но во всем свинцовый привкус,
 Будто ешь стряпню Локусты.

Та же бархатная сволочь,
 Расфуфырившись, кивает —
 Важно, как в саду тюльпаны.
 Только в соусах различье.

Словно мак, толпы жужжанье
 Усыпляет ум и чувства,
 И лишь трубы пробуждают
 Одуревшего от жвачки.

К счастью, был моим соседом
 Дон Диего Альбукерке,
 Увлекательно и живо
 Речь из уст его лилась.

Он рассказывал отлично,
 Знал немало тайн дворцовых,
 Темных дел времен дон Педро,
 Что Жестоким Педро прозван.

Я спросил, за что дон Педро
 Обезглавил дон Фредрего,
 Своего родного брата.
 И вздохнул мой собеседник.

«Ах, сеньор, не верьте вракам
 Завсегдатаев трактирных,
 Бредням праздных гитаристов,
 Песням уличных певцов.

И не верьте бабьим сказкам
 О любви меж дон Фредрего
 И прекрасной королевой
 Доньей Бланкой де Бурбон.

Только мстительная зависть,
 Но не ревность венценосца
 Погубила дон Фредрего,
 Командора Калатравы.

Не прощал ему дон Педро
 Славы, той великой славы,
 О которой донна Фама
 Так восторженно трубила.

Не простил дон Педро брату
 Благородства чувств высоких,
 Красоты, что отражала
 Красоту его души.

Как живого, я доныне
 Вижу юного героя —
 Взор мечтательно-глубокий,
 Весь его цветущий облик.

Вот таких, как дон Фредрего,
 От рожденья любят феи.
 Тайной сказочной дышали
 Все черты его лица.

Очи, словно самоцветы,
 Синим светом ослепляли,
 Но и твердость самоцвета
 Проступала в зорком взгляде.

Пряди локонов густые
 Темным блеском отливали,
 Сине-черною волною
 Пышно падая на плечи.

Я в последний раз живого
 Увидал его в Коимбре,
 В старом городе, что отнял
 Он у мавров, — бедный принц!

Узкой улицей скакал он,
 И, следя за ним из окон,
 За решетками вздыхали
 Молодые мавританки.

На его высоком шлеме
 Перья вольно развевались,
 Но отпугивал греховность
 Крест нагрудный Калатравы.

Рядом с ним летел прыжками,
 Весело хвостом виляя,
 Пес его любимый, Аллан,
 Чье отечество — Сиерра,

Несмотря на рост огромный,
 Он, как серна, был проворен.
 Голова, при сходстве с лисьей,
 Мощной формой норажала.

Шерсть была нежнее шелка,
 Белоснежна и курчава.
 Золотой его ошейник
 Был рубинами украшен.

И, по слухам, талисман
 Верности в нем был запрятан.
 Ни на миг не покидал он
 Господина, верный пес.

О, неслыханная верность!
 Не могу без дрожи вспомнить,
 Как раскрылась эта верность
 Перед нашими глазами.

О, проклятый день злодейства!
 Это все свершилось здесь же,
 Где сидел я, как и ныне,
 На пиру у короля.

За столом, на верхнем месте,
 Там, где ныне дон Энрико
 Осушает кубок дружбы
 С цветом рыцарей кастильских,

В этот день сидел дон Педро,
 Мрачный, злой, и, как богиня,
 Вся сияя, восседала
 С ним Мария де Падилья.

А вон там, на нижнем месте,
 Где, одна, скучает дама,
 Утопающая в брыжах
 Плоских, белых, как тарелка, —

Как тарелка, на которой
 Личико с улыбкой кислой,
 Желтое и все в морщинах,
 Выглядит сухим лимоном, —

Там, на самом нижнем месте,
 Стул незанятым остался.
 Золотой тот стул, казалось,
 Поджидал большого гостя.

Да, большому гостю был он,
 Золотой тот стул, оставлен,
 Но не прибыл дон Фредрего,
 Почему — теперь мы знаем.

Ах, в тот самый час свершилось
 Небывалое злодейство:
 Был обманом юный рыцарь
 Схвачен слугами дон Педро,

Связан накрепко и брошен
 В башню замка, в подземелье,
 Где царили мгла и холод
 И горел один лишь факел.

Там, среди своих подручных,
 Опираясь на секиру,
 Ждал палач в одежде красной,
 Мрачно пленнику сказал он:

«Приготовьтесь к смерти, рыцарь.
 Как гроссмейстеру Сант-Яго,
 Вам из милости дается
 Четверть часа для молитвы».

Преклонил колени рыцарь
 И спокойно помолился,
 А потом сказал: «Я кончил», —
 И удар смертельный принял.

В тот же миг, едва на плиты
 Голова его скатилась,
 Подбежал к ней верный Аллан,
 Не замеченный доселе.

И схватил зубами Аллан
 Эту голову за кудри
 И с добычей драгоценной
 Полетел стрелою наверх.

Вопли ужаса и скорби
 Раздавались там, где мчался
 Он по лестницам дворцовым,
 Галереям и чертогам.

С той поры, как Валтасаров
 Пир свершался в Вавилоне,
 За столом никто не видел
 Столь великого смятенья,

Как меж нас, когда вбежал он
 С головою дон Фредрего,
 Всю в пыли, в крови, за кудри
 Волоча ее зубами.

И на стул пустой, где должен
 Был сидеть его хозяин,
 Вспрыгнул пес и, точно судьям,
 Показал нам всем улику.

Ах, лицо героя было
 Так знакомо всем, лишь стало
 Чуть бледнее, чуть серьезней,
 И вокруг ужасной рамой

Кудри черные змеились,
 Вроде страшных змей Медузы,
 Как Медуза, превращая
 Тех, кто их увидел, в камень.

Да, мы все окаменели,
 Молча глядя друг на друга,
 Всем язык одновременно
 Этикет и страх связали.

Лишь Мария де Падилья
 Вдруг нарушила молчанье,
 С воплем руки заломила,
 Вещим ужасом полна.

«Мир сочтет, что я — убийца,
 Что убийство я свершила,
 Рок детей моих постигнет,
 Сыновей моих безвинных».

Дон Диего смолк, заметив,
 Как и все мы, с опозданьем,
 Что обед уже окончен
 И что двор покинул залу.

По-придворному любезный,
 Предложил он показать мне
 Старый замок, и вдвоем
 Мы пошли смотреть палаты.

Проходя по галерее,
 Что ведет к дворцовой псарне,
 Возвещавшей о себе
 Визгом, лаем и ворчаньем,

Разглядел во тьме я келью,
 Замурованную в стену
 И похожую на клетку
 С крепкой толстою решеткой.

В этой клетке я увидел
 На соломе полусгнившей
 Две фигурки, — на цепи
 Там сидели два ребенка.

Лет двенадцати был младший,
 А другой чуть-чуть постарше.
 Лица тонки, благородны,
 Но болезненно-бледны.

Оба были полуголы
 И дрожали в лихорадке.
 Тельца худенькие были
 Полосаты от побоев.

Из глубин безмерной скорби
 На меня взглянули оба.
 Жутки были их глаза,
 Как-то призрачно-пустые.

«Боже, кто страдальцы эти?» —
 Вскрикнул я и дон Диего
 За руку схватил невольно.
 И его рука дрожала.

Дон Диего, чуть смущенный,
 Оглянулся, опасаясь,
 Что его услышать могут,
 Глубоко вздохнул и молвил

Нарочито светским тоном:
 «Это два родные брата,
 Дети короля дон Педро
 И Марии де Падилья.

В день, когда в бою под Нарвас
 Дон Энрико Транстамаре
 С брата своего дон Педро
 Сразу снял двойное бремя:

Тяжкий гнет монаршей власти
 И еще тягчайший — жизни,
 Он тогда как победитель,
 Проявил и к детям брата

Милосердье; Он обоих
 Взял, как подобает дяде,
 В замок свой и предоставил
 Им бесплатно кров и пищу.

Правда, комнатка тесна им,
 Но зато прохладна летом,
 А зимой хоть не из теплых,
 Но не очень холодна.

Кормят здесь их черным хлебом,
 Вкусным, будто приготовлен
 Он самой Церерой к свадьбе
 Прозерпиночки любимой.

Иногда пришлет им дядя
 Чашку жареных бобов»
 И тогда, уж дети знают:
 У испанцев воскресенье.

Не всегда, однако, праздник,
 Не всегда бобы дают им.
 Иногда начальник, псарни
 Щедро потчует их плетью.

Ибо сей начальник псарни,
 Коего надзору дядя,
 Кроме псарни, вверил клетку,
 Где племянники, живут,

Сам весьма несчастный в браке
 Муж той самой Лнмонессы
 В брыжах белых, как тарелка,
 Что сидела за столом.

А супруга так сварлива,
 Что супруг, сбежав от брани,
 Часто здесь на псах и детях
 Плетью вымещает злобу.

Но такого обращенья
 Наш король не поощряет.
 Он велел ввести различье
 Между принцами и псами.

От чужой бездушной плети
 Он племянников избавил
 И воспитывать обоих
 Будет сам, собственноручно».

Дон Диего смолк внезапно,
 Ибо сенешаль дворцовый
 Подошел к нам и спросил:
 «Как изволили откушать?»***